



Рождественские повести

Чарльз Диккенс

**Колокола**

**Диккенс Ч.**

Колокола / Ч. Диккенс — — (Рождественские повести)

## Содержание

Первая четверть	5
Конец ознакомительного фрагмента.	16

# Чарльз Диккенс

## КОЛОКОЛА

### *Рассказ о Духах церковных часов*

#### Первая четверть

Немного найдется людей, – а поскольку желательно с самого начала устранить возможные недомолвки между рассказчиком и читателем, я прошу отметить, что свое утверждение отношу не только к людям молодым или к малым детям, но ко всем решительно людям, детям и взрослым, старым и молодым, тем, что еще тянутся кверху, и тем, что уже растут книзу, – немного, повторяю, найдется людей, которые согласились бы спать в церкви. Я не говорю – в жаркий летний день, во время проповеди (такое иногда случалось), нет, я имею в виду ночью и в полном одиночестве. Я знаю, что при ярком свете дня такое мнение многим покажется до крайности удивительным. Но оно касается ночи. И обсуждать его следует ночью. И я ручаюсь, что сумею отстоять его в любую ветреную зимнюю ночь, выбранную для этого случая, в споре с любым из множества противников, который захочет встретиться со мною наедине на старом кладбище, у дверей старой церкви, предварительно разрешив мне – если требуется ему лишний довод – запереть его в этой церкви до утра.

Ибо есть у ночного ветра удручающая привычка рыскать вокруг такой церкви, испуская жалобные стоны, и невидимой рукой дергать двери и окна, и выискивать, в какую бы щель пробраться. Проникнув же внутрь и словно не найдя того, что искал, а чего он искал – неведомо, он воет, и причитает, и просится обратно на волю; мало того, что он мечется по приделам, кружит и кружит между колонн, задевает басы органа: нет, он еще взмывает под самую крышу и норовит разнять стропила; потом, отчаявшись, бросается вниз, на каменные плиты пола, и ворча заползает в склепы. И тут же тихонько вылезает оттуда и крадется вдоль стен, точно читая шепотом надписи в память усопших. Прочитав одни, он раздражается пронзительным хохотом, над другими горестно стонет и плачет. А послушать его, когда он заберется в алтарь! Так и кажется, что он выводит там заунывную песнь о злодеяниях и убийствах, о ложных богах, которым поклоняются вопреки скрижалям Завета – с виду таким красивым и гладким, а на самом деле поруганным и разбитым. Ох, помилуй нас, господи, мы тут так уютно у ourselves в кружок у огня. Поистине страшный голос у полночного ветра, поющего в церкви!

А вверху-то, на колокольне! Вот где разбойник ветер ревет и свищет! Вверху, на колокольне, где он волен шнырять туда-сюда в пролеты арок и в амбразуры, завиваться винтом вокруг узкой отвесной лестницы, крутить скрипучую флюгарку и сотрясать всю башню так, что ее дрожь пробирает! Вверху, на колокольне, там, где вышка для звонарей и железные поручни изъедены ржавчиной, а свинцовые листы кровли, покособившиеся от частой смены жары и холода, гремят и прогибаются, если ступит на них невзначай нога человека; где птицы прилепили свои растрепанные гнезда в углах между старых дубовых брусьев и балок; и пыль состарилась и поседела; и пятнистые пауки, разжиревшие и обленившиеся на покое, мерно покачиваются в воздухе, колеблемом колокольным звоном, и никогда не покидают своих домотканых воздушных замков, не лезут в тревоге вверх, как матросы по вантам, не падают наземь и потом не перебирают проворно десятком ног, спасая одну-единственную жизнь! Вверху на колокольне старой церкви, много выше огней и глухих шумов города и много ниже летящих облаков, бросающих на него свою тень, – вот где уныло и жутко в зимнюю ночь; и там вверху, на колокольне одной старой церкви, жили колокола, о которых я поведу рассказ.

То были очень старые колокола, уж вы мне поверьте. Когда-то давно их крестили епископы<sup>1</sup>, – так давно, что свидетельство об их крещении потерялось еще в незапамятные времена и никто не знал, как их нарекли. Были у них крестные отцы и крестные матери (сам я, к слову сказать, скорее отважился бы пойти в крестные отцы к колоколу, нежели к младенцу мужского пола), и, наверно, каждый из них, как полагается, получил в подарок серебряный стаканчик. Но время скосило их восприемников, а Генрих Восьмой переплавил их стаканчики<sup>2</sup>; и теперь они висели на колокольне безыменные и бесстаканные.

Но только не бессловесные. Отнюдь нет. У них были громкие, чистые, залиvistые, звонкие голоса, далеко разносившиеся по ветру. Да и не такие робкие это были колокола, чтобы подчиняться прихотям ветра: когда находила на него блажь дуть не в ту сторону, они храбро с ним боролись и все равно по-царски щедро дарили своим радостным звоном каждого, кому хотелось его услышать; известны случаи, когда в бурную ночь они решали во что бы то ни стало достигнуть слуха несчастной матери, склонившейся над больным ребенком, или жены ушедшего в плавание моряка, и тогда им удавалось наголову разбить даже северо-западного буяна, прямо-таки расколошматить его, как выражался Тоби Вэк; ибо, хотя обычно его называли Трухти Вэк, настоящее его имя было Тоби, и никто не мог переименовать его (кроме как в Тобиаса) без особого на то постановления парламента: ведь в свое время над ним, так же как над колоколами, совершили по всем правилам обряд крещения, пусть и не столь торжественно и не при столь громких кликах народного ликования.

Должен признаться, что я лично разделяю суждение Тоби Вэка – уж кто-кто, а он-то имел полную возможность составить себе правильное суждение на этот счет. Что утверждал Тоби Вэк, то утверждаю и я. И я всегда готов постоять за него, хотя стоять-то ему приходилось, да еще целыми днями (и очень тоскливое это было занятие) как раз перед дверью церкви. Дело в том, что Тоби Вэк был рассыльным, и именно здесь он дожидался поручений.

А каково дожидаться в таком месте в зимнее время, когда тебя просвистывает насквозь, и весь покрываешься гусиной кожей, и нос синее, а глаза краснеют, и стынут ноги, и зуб на зуб не попадает, – это Тоби Вэк знал как нельзя лучше. Ветер – особенно восточный – налетал из-за угла с такой яростью, словно затем только и принесся с того конца света, чтобы поизмышаться над Тоби. И нередко казалось, что он сгоряча проскакивал дальше, чем следует, потому что, выметнувшись из-за угла и миновав Тоби, он круто поворачивал обратно, словно восклицая: «Ах, вот он где!» – и тот же час куций белый фартук Тоби вскидывало ему на голову (так задирают курточку напроказившему мальчишке), жиденькая тросточка начинала беспомощно трепыхаться в его руке, ноги выписывали самые невероятные кренделя, а всего Тоби, накрепившегося к земле, крутило то вправо то влево, и так швыряло и било, и трепало и дергало, и мотало и поднимало в воздух, что еще немножко – и показалось бы настоящим чудом, почему он не взлетает под облака – как то бывает иногда со скопищами лягушек, улиток и прочих легковесных тварей – и не проливается дождем, к великому удивлению местных жителей, на какой-нибудь отдаленный уголок земли, где в глаза не видали рассыльных.

Но ветреные дни, хотя Тоби в эти дни и доставалось так немилосердно, все же были для него почти праздниками. Честное слово. Ему казалось, что в такие дни время идет быстрее и не так долго приходится ждать шестипенсовика; когда он бывал голоден и удручен, необходимость бороться с озорной стихией развлекала его и подбадривала. Мороз или, скажем, снег – это тоже было для него развлечение; он даже считал, что они ему на пользу, хотя в каком именно смысле на пользу, это он вряд ли сумел бы объяснить. Но так или иначе, ветер, мороз и снег, да еще, пожалуй, хороший крупный град приятно разнообразили жизнь Тоби Вэка.

<sup>1</sup> Когда-то давно их крестили епископы... – Обычай давать новым колоколам имена существовал в старину и в России.

<sup>2</sup> ...Генрих Восьмой переплавил их стаканчики. – При Генрихе VIII (1509—1547) Англия отказалась признавать власть папы римского и король стал официально «главою церкви». В Англии было закрыто несколько сот монастырей и конфисковано несметное количество церковного имущества.

Мокреть – вот что было хуже всего, – холодная, липкая мокреть, которая окутывала его, точно отсыревшая шинель, – другой шинели у него и не было, а без этой он предпочел бы обойтись! Мокрые дни, когда с неба неспешно и упорно сеял частый дождь, когда улица, так же как Тоби, давилась и захлебывалась туманом; когда от бесчисленных зонтов валил пар и, сталкиваясь на тесном тротуаре, они кружились, точно волчки, прыскавая во все стороны ледяными струйками; когда вода бурлила в сточных канавах и шумела в переполненных желобах; когда с карнизов и выступов церкви кап-кап-капало на Тоби и тонкая подстилка из соломы, на которой он стоял, мгновенно превращалась в грязное месиво, – вот это были поистине тяжелые дни. Тогда-то, и только тогда, можно было увидеть, как мрачнело и вытягивалось лицо у Тоби, тревожно выглядывавшего из своего укрытия в уголке церковной стены – укрытия до того жалкого, что тень, которую оно летом отбрасывало на залитую солнцем панель, была не шире тросточки. Но стоило Тоби, отойдя от стены, раз десять протрусить взад-вперед по тротуару, чтобы немножко согреться, как он, даже в такие дни, снова веселел и повеселевший возвращался в свое убежище.

Трухти его прозвали за его любимый аллюр, усвоенный им для большей скорости, хотя и не дававший ее. Шагом он, возможно, передвигался бы быстрее; даже наверно так; но если бы отнять у Тоби его трусцу, он тут же слег бы и умер. Из-за нее он в мокрую погоду бывал весь забрызган грязью; она причиняла ему уйму хлопот; ходить шагом было бы ему несравненно легче; но отчасти поэтому он и трусил рысцой с таким упорством. Щуплый, слабосильный старик, по своим намерениям Тоби был настоящим Геркулесом. Он не любил получать деньги даром. Мысль, что он честно зарабатывает свой хлеб, доставляла ему огромное удовольствие, а отказываться от удовольствий при его бедности было ему не по средствам. Когда в руки ему попадало письмо или пакет, за доставку которого он получал шиллинг, а то и полтора, его мужество, и без того не малое, еще возрастало. Он пускался трусить по улице, покрикивая быстроногим почтальонам, шагавшим впереди, чтобы они посторонились, ибо он свято верил, что непременно, рано или поздно, нагонит их, а потом и обгонит; и столь же твердо было его убеждение – не часто, впрочем, подвергавшееся проверке, – что он может донести любую тяжесть, какую вообще способен поднять человек.

Итак, даже выбираясь из своего уголка, чтобы погреться в дождливый день, Тоби трусил. Своими дырявыми башмаками прокладывая на слякоти ломаную линию мокрых следов; согнув ноги в коленях, засунув тросточку под мышку, дуя на озябшие руки и крепко их потирая, потому что очень уж плохо защищали их от холода поношенные серые шерстяные рукавицы, в которых отдельная комнатка отведена была только большому пальцу, а остальные помещались в общей зале, – Тоби трусил и трусил. И сходя с панели на мостовую, чтобы посмотреть вверх на звонницу, когда заводили свою музыку колокола, Тоби тоже передвигался трусцой.

Последнее из упомянутых передвижений Тоби совершал по несколько раз на дню: ведь колокола были его друзьями, и когда он слышал их голоса, ему всегда хотелось взглянуть на их жилище и подумать о том, как их там раскачивают и какие по ним бьют языки. Может, они еще потому его так интересовали, что было между ними и им самим много общего. Они висели на своем месте в любую погоду, под дождем и ветром; окружающие церковь дома они видели только снаружи; никогда не приближались к жаркому огню каминов, бросавшему отблески на оконные стекла и клубами дыма вырывающемуся из труб; и могли только издали поглядывать на разные вкусные вещи, которые хозяева и мальчишки из магазинов знай вручали толстым кухаркам то с парадного хода, то во двореке у кухонной двери. В окнах появлялись и снова исчезали лица – иногда красивые лица, молодые, приветливые, иногда наоборот, – но откуда они появляются и куда исчезают, и бывает ли хоть раз в году, чтобы обладатели этих лиц, когда шевелят губами, сказали про него доброе слово, – обо всем этом Тоби (хотя он часто раздумывал о таких пустяках, стоя без дела на улице) знал не больше, чем колокола на своей колокольне.

Тоби не был казуистом – во всяком случае, не знал за собой такого греха, – и я не хочу сказать, что когда он только заинтересовался колоколами и из редких нитей своего первоначального знакомства с ними стал сплетать более прочную и плотную ткань, то перебрал одно за другим все эти соображения или мысленно устроил им торжественный смотр. А хочу я сказать – и сейчас скажу, – что подобно тому как различные части тела Тоби, например, его пищеварительные органы, достигали известной цели самостоятельно, посредством множества действий, о которых он понятия не имел и которые, доведись ему узнать о них, чрезвычайно бы его удивили, – так и мозг Тоби, без его ведома и соучастия, привел в движение все эти пружины и колесики, да еще тысячи других в придачу, и таким образом породил его симпатию к колоколам.

Я мог бы даже сказать – любовь, и это не было бы оговоркой, хотя далеко не точно определяло бы очень сложное чувство Тоби. Ибо он, будучи сам человеком простым, наделял колокола загадочным и суровым нравом. Они были такие таинственные – слышно их часто, а видеть не видно; так высоко было до них, и так далеко, и такие они таили в себе звучные и мощные напевы, что он чувствовал к ним какой-то благоговейный страх; и порой, глядя вверх на темные стрельчатые окна башни, он бывал готов к тому, что его вот-вот поманит оттуда нечто – не колокол, нет, но то, что ему так часто слышалось в колокольном звоне. И, однако же, Тоби с негодованием отвергал вздорный слух, будто на колокольне водятся привидения, – ведь это значило бы, что колокола сродни всякой нечисти. Словом, они очень часто звучали у него в ушах, и очень часто присутствовали в его мыслях, но всегда были у него на хорошем счету; и очень часто, заглядевшись с разинутым ртом на верхушку колокольни, где они висели, он так сворачивал себе шею, что ему приходилось лишний раз протрусить взад-вперед, чтобы вернуть ее в прежнее положение.

Этим-то он и занимался однажды, холодным зимним днем, когда отзвук последнего из ударов, только что возвестивших полдень, сонно гудел под сводами башни как огромный музыкальный шмель.

– Время обедать, – сказал Тоби, труся взад-вперед мимо дверей церкви.

Нос у Тоби был ярко-красный, и веки ярко-красные, а плечи его находились в очень близком соседстве с ушами, а ноги совсем не желали гнутья, и вообще он, видимо, уже давно забыл, когда ему было тепло.

– Время обедать, а? – повторил Тоби, пользуясь своей правой рукавицей в качестве, так сказать, боксерской перчатки и колотя собственную грудь за то, что она озябла. – Нда-а.

После этого он минуты две трусил молча.

– Нет ничего на свете... – заговорил он снова, но тут же остановился как вкопанный и, выразив на лице неподдельный интерес и некоторую тревогу, стал тщательно, снизу доверху, ощупывать свой нос. Нос был пустячный, и, чтобы ощупать его, не потребовалось много времени.

– А я уж думал, он куда девался, – сказал Тоби, вновь пускаясь трусить по панели. – Нет, весь тут, сердешный. Да и вздумай он сбежать, я бы, ей-ей, не стал винить его. Служба у него в холодную погоду трудная, и надеяться особенно не на что – я ведь табак не нюхаю. Ему, бедняге, и во всякую-то погоду приходится несладко: если в кои веки и учует вкусный запах, то скорей всего запах чужого обеда, который несут из пекарни.

Мысль эта напомнила ему про другую, оставшуюся незаконченной.

– Нет ничего на свете, – сказал Тоби, – столь постоянного, как время обеда, и нет ничего на свете столь непостоянного, как обед. В этом и состоит большое различие между тем и другим. Не сразу я до этого додумался. Интересно знать, может быть какой-нибудь джентльмен решил бы, что такое открытие стоит купить для газетной статьи? Или для парламентской речи?

Тоби, конечно, шутил, – он тут же устыдился и с укором покачал головой.



– О, господи, – сказал Тоби, – газеты и без того полным-полны открытий, и парламент тоже. Взять хоть газету от прошлой недели, – он извлек из кармана замызганный листок и поглядел на него, держа в вытянутой руке, – полным-полно открытий! Сплошные открытия! Я, как и всякий человек, люблю узнавать новости, – медленно проговорил Тоби, еще раз перегибая листок пополам и засовывая его обратно в карман, – но последнее время газеты читать – одно расстройство. Даже страх берет. Просто не знаю, до чего мы, бедняки, дойдем. Дай бог, чтобы дошли до чего-нибудь хорошего в новом году, благо он наступает!

– Отец! Да отец же! – произнес ласковый голос у него над ухом.

Тоби ничего не слышал, он продолжал трусить взад-вперед, погруженный в свои мысли и разговаривая сам с собою.

– Выходит, будто мы всегда не правы, и оправдать нас нечем, и исправить нас невозможно, – сказал Тоби. – Сам-то я неученый, где уж мне разобраться, имеем мы право жить на земле или нет. Иней раз думается, что какое-никакое, а все-таки имеем, а иной раз думается, что мы здесь лишние. Бывает, до того запутаешься, что даже не можешь понять, есть в нас хоть что-нибудь хорошее, или мы так и родимся дурными. Выходит, будто мы ведем себя ужасно, будто мы всем доставляем кучу хлопот; вечно на нас жалуются, кого-то от нас предостерегают. Так ли, этак ли, а в газетах только о нас и пишут. Опять же новый год, – сказал Тоби сокрушенно. – Вообще-то я могу перенести любую беду не хуже другого, даже лучше, потому что я сильный как лев, а это не про всякого скажешь, – но что если мы и в самом деле не имеем права на новый год... что если мы и в самом деле лишние...

– Отец! Да отец же! – повторил ласковый голос.

На этот раз Тоби услышал; вздрогнул; остановился; изменил направление своего взгляда, который перед тем был устремлен куда-то вдаль, словно искал ответа в самом сердце наступающего года, – и тогда оказалось, что он стоит лицом к лицу со своей родной дочерью и смотрит ей прямо в глаза.

И какие же ясные это были глаза – просто чудо! Глаза, в которые сколько ни гляди, не измерить их глубины. Темные глаза, которые в ответ на любопытный взгляд не сверкали своим нравным огнем, но струили тихое, честное, спокойное, терпеливое сияние – сродни тому свету, которому повелел быть творец. Глаза прекрасные, и правдивые, и полные надежды – надежды столь молодой и невинной, столь бодрой, светлой и крепкой (хотя они двадцать лет видели перед собой только труд и бедность), что для Тоби Вэка они превратились в голос и сказали: «По-моему, какое-никакое, а все-таки право жить на земле мы имеем!»

Тоби поцеловал губы, которые возникли перед ним одновременно с этими глазами, и сжал цветущее личико между ладоней.

– Голубка моя, – сказал Тоби. – Что случилось? Я не думал, что ты сегодня придешь, Мэг.

– Я и сама не думала, что приду, отец, – воскликнула девушка, кивая головкой и улыбаясь. – А вот пришла. Да еще и принесла кое-что.

– Это как же, – начал Тоби, с интересом поглядывая на корзинку с крышкой, которую она держала в руке, – ты хочешь сказать, что ты...

– Понюхай, милый, – сказала Мэг. – Ты только понюхай!

Тоби на радостях уже готов был приподнять крышку, но Мэг проворно отвела его руку.

– Нет, нет, нет, – сказала она, веселясь, как ребенок. – Надо растянуть удовольствие. Я приподниму только краешек, са-амый краешек, – и она так и сделала, очень осторожно, и понизила голос, точно опасаясь, что ее услышат из корзинки. – Вот так. Теперь нюхай. Что это?

Тоби всего разок шмыгнул носом над корзинкой и воскликнул в упоении:

– Да оно горячее!

– Еще какое горячее! – подхватила Мэг. – Ха-ха-ха! С пылу с жару!

– Ха-ха-ха! – покатился Тоби и даже подрыгал ногой. – С пылу с жару!

– Ну, а что это, отец? – спросила Мэг. – Ведь ты еще не угадал, что это. А ты должен угадать. Пока не угадаешь, не дам, и не надейся. Ты не спеши! Погоди минутку! Приоткроем еще немножечко. Ну, угадывай.

Мэг ужасно боялась, как бы он не отгадал слишком быстро; она даже отступила на шаг, протягивая к нему корзинку; и передернула круглыми плечиками; и заткнула пальцами ухо, точно этим могла помешать верному слову сорваться с языка Тоби; и все время тихонько смеялась.

А Тоби между тем, упершись руками в колени, пригнулся носом к корзинке и глубоко-мысленно потянул в себя воздух; и тут по морщинистому его лицу расплылась улыбка, словно он вдохнул веселящего газа.

– Пахнет очень вкусно, – сказал Тоби. – Это не... Это, часом, не кровяная колбаса?

– Нет, нет, нет! – в восторге закричала Мэг. – Ничего похожего!

– Нет, – сказал Тоби, снова принимаясь. – Пахнет словно бы нежнее, чем кровяная колбаса. Очень хорошо пахнет. С каждой минутой все лучше. Но для бараньих ножек запах слишком крепкий. Верно?

Мэг ликовала: ничто не могло быть дальше от истины, чем бараньи ножки, – кроме разве кровяной колбасы.

– Легкое? – сказал Тоби, совещаясь сам с собой. – Нет. Тут чувствуется что-то этакое масляное, что с легким не вяжется. Свиные ножки? Нет, у тех запах слабее. А петушинные головы опять же пахнут пронзительнее. Не сосиски, нет. Я тебе скажу, что это. Это потроха!

– А вот и нет! – крикнула Мэг, торжествуя. – А вот и нет!

– Эх! Да что же это я! – сказал Тоби, внезапно выпрямляясь, насколько это было для него возможно. – Я, наверно, скоро собственное имя забуду. Это рубцы!

Он угадал; и Мэг, сияя от радости, заверила его, что таких замечательных тушеных рубцов еще не бывало на свете, – сейчас он и сам в этом убедится.

– Расстелем-ка мы скатерть, – сказала Мэг, усердно хлопоча над корзинкой. – Ведь рубцы у меня в миске, а миску я завязала в платок; и если я решила раз в жизни загордиться, и расстелить его вместо скатерти, и назвать его скатертью, никакой закон мне этого не запретит, верно, отец?

– Словно бы и так, голубка, – отвечал Тоби. – Но они, знаешь ли, то и дело откапывают новые законы.

– Да, и как сказал тот судья – помнишь, я тебе читала недавно из газеты? – нам, беднякам, все эти законы надлежит знать. Ха-ха-ха! Нужно же такое выдумать! Ой, господи, какими умными они нас считают!

– Верно, дочка! – воскликнул Тоби. – И если б кто из нас вправду знал все законы, как бы они его жаловали! Такой человек просто разжирел бы, столько у него было бы работы, и все важные господа в округе водили бы с ним знакомство. Право слово!

– И он бы с аппетитом пообедал, если б от его обеда так вкусно пахло, – весело закончила Мэг. – Ты не мешкай, потому что тут есть еще горячая картошка и полпинты пива в бутылке, только что из бочки. Тебе где накрывать, отец? На тумбе или на ступеньках? Фу-ты ну-ты, какие мы важные! Даже выбрать можем.

– Сегодня на ступеньках, родная, – сказал Тоби. – В сухую погоду – на ступеньках. В мокрую – на тумбе. На ступеньках-то оно удобнее, потому как там можно обедать сидя; но в сырость от них ревматизм разыгрывается.

– Ну, милости прошу, – хлопая в ладоши, сказала Мэг. – Все готово. Красота, да и только. Иди, отец, иди.

С тех пор как содержимое корзинки перестало быть тайной, Тоби стоял и смотрел на дочь, да и говорил тоже, с каким-то рассеянным видом, ясно показывающим, что, хоть она и занимала безраздельно его мысли, вытеснив из них даже рубцы, он видел ее не такой, какою она

была в это время, но смутно рисовал себе трагическою картину ее будущего. Он уже готов был горестно тряхнуть головой, но вместо этого сам встряхнулся, словно разбуженный ее бодрым окликом, и послушно затрусил к ней. Только он собрался сесть, как зазвонили колокола.

– Аминь! – сказал Тоби, снимая шляпу и глядя вверх, откуда раздавался звон.

– Аминь колоколам, отец? – воскликнула Мэг.

– Это вышло, как молитва перед едой, – сказал Тоби, усаживаясь. – Они, если бы могли, наверняка прочитали бы хорошую молитву. Недаром они со мной так славно разговаривают.

– Это колокола-то! – рассмеялась Мэг, ставя перед ним миску с ножом и вилкой. – Ну и ну!

– Так мне кажется, родная, – сказал Трухти, с великим усердием принимаясь за еду. – А разве это не все едино? Раз я их слышу, так ведь неважно, говорят они или нет. Да что там, милая, – продолжал Тоби, указывая вилкой на колокольную и заметно оживляясь под воздействием обеда, – я сколько раз слышал, как они говорят: «Тоби Вэк, Тоби Вэк, не печалься, Тоби! Тоби Вэк, Тоби Вэк, не печалься, Тоби!» Миллион раз? Нет, больше.

– В жизни такого не слыхивала! – вскричала Мэг.

Неправда, слыхивала, и очень часто, – ведь у Тоби это была излюбленная тема.

– Когда дела идут плохо, – сказал Тоби, – то есть совсем плохо, так что хуже некуда, тогда они говорят: «Тоби Вэк, Тоби Вэк, жди, работа будет! Тоби Вэк, Тоби Вэк, жди, работа будет!» Вот так.

– И в конце концов работа для тебя находится, – сказала Мэг, и в ласковом ее голосе прозвучала грусть.

– Обязательно, – простодушно подтвердил Тоби. – Не было случая, чтобы не нашлась.

Пока происходил этот разговор, Тоби прилежно расправлялся с сочным блюдом, стоявшим перед ним, – он резал и ел, резал и пил, резал и жевал, и кидался от рубцов к горячей картошке и от горячей картошки к рубцам с неслабеющим, почти набожным рвением. Но вот он окинул взглядом улицу – на тот случай, если бы кому-нибудь вздумалось позвать из окна или двери рассыльного, – и на обратном пути взгляд его упал на Мэг, которая сидела напротив него, скрестив руки и наблюдая за ним со счастливой улыбкой.

– Господи, прости меня! – сказал Тоби, роняя нож и вилку. – Голубка моя! Мэг! Что же ты мне не скажешь, какой я негодяй?

– О чем ты, отец?

– Сижу, – стал покаянно объяснять Тоби, – ем, нажираюсь, уплетаю за обе щеки, а ты, моя бедная, и кусочка не проглотила и глядишь, точно тебе и не хочется, а ведь...

– Да я проглотила, отец, и не один кусочек, – смеясь, перебила его дочь. – Я уже пообедала.

– Вздор, – отрезал Тоби. – Пообедала и еще мне принесла? Два обеда в один день – этого быть не может. Ты бы еще сказала, что наступят сразу два новых года или что я всю жизнь храню золотой и даже не разменял его.

– А все-таки, отец, я пообедала, – сказала Мэг, подходя к нему поближе. – И если ты будешь есть, я тебе расскажу, как пообедала, и где; и откуда взялся обед для тебя; и... и еще кое-что в придачу.

Тоби, казалось, все еще сомневался; но она поглядела на него своими ясными глазами и, положив руку ему на плечо, сделала знак поторопиться, пока мясо не остыло. Тогда он снова взял нож и вилку и принялся за еду. Но ел он теперь гораздо медленнее и покачивал головой, словно был очень собой недоволен.

– А я, отец, – начала Мэг после минутного колебания, – я пообедала... с Ричардом. Его сегодня рано отпустили пообедать, и он, когда зашел навестить меня, принес свой обед с собой, ну мы... мы и пообедали вместе.

Тоби отпил пива и причмокнул губами. Потом, видя, что она ждет, сказал: «Вот как?»

– И Ричард говорит, отец... – снова начала Мэг и умолкла.

– Что же он говорит? – спросил Тоби.

– Ричард говорит, отец... – снова молчание.

– Долгонько Ричард собирается с мыслями, – сказал Тоби.

– Он говорит, отец, – продолжала Мэг, подняв, наконец, голову и вся дрожа, но уже больше не сбиваясь, – что вот и еще один год прошел, и есть ли смысл ждать год за годом, раз так мало вероятия, что мы когда-нибудь станем богаче? Он говорит, отец, что сейчас мы бедны, и тогда будем бедны, но сейчас мы молоды, а не успеем оглянуться – и станем старые. Он говорит, что если мы – в нашем-то положении – будем ждать до тех пор, пока ясно не увидим свою дорогу, то это окажется очень узкая дорога... общая для всех... дорога к могиле, отец.

Чтобы отрицать это, потребовалось бы куда больше смелости, чем ее было у Трухти Вэка. Трухти промолчал.

– А как тяжело, отец, состариться и умереть, и думать перед смертью, что мы могли бы быть друг другу радостью и поддержкой! Как тяжело всю жизнь любить друг друга и порознь горевать, глядя, как другой работает, и меняется год от году, и старится, и седеет. Даже если б я когда-нибудь успокоилась и забыла его (а этого никогда не будет), все равно, отец, как тяжело дожить до того, что любовь, которой сейчас полно мое сердце, уйдет из него, капля за каплей, и не о чем будет даже вспомнить – ни одной счастливой минуты, какие выпадают женщине на долю, чтобы ей в старости утешаться, вспоминая их, и не озлобиться!

Трухти сидел тихо-тихо. Мэг вытерла глаза и заговорила веселее, то есть когда смеясь, когда плача, а когда смеясь и плача одновременно:

– Вот Ричард и говорит, отец, что раз он со вчерашнего дня на некоторое время обеспечен работой, и раз я его люблю уже целых три года – на самом-то деле больше, только он этого не знает, – так не пожениться ли нам в день Нового года; он говорит, что это из всего года самый лучший, самый счастливый день, такой день наверняка должен принести нам удачу. Конечно, времени осталось очень мало, но ведь я не знатная леди, отец, мне о приданом не заботиться, подвенечного платья не шить, верно? Это все Ричард сказал, да так серьезно и убедительно, и притом так ласково и хорошо, что я решила – пойду поговорю с тобой, отец. А раз мне сегодня утром заплатили за работу (совершенно неожиданно!), а ты всю неделю недоедал, а мне так хотелось, чтобы этот день, такой счастливый и знаменательный для меня, отец, и для тебя тоже стал бы вроде праздника, я и подумала – приготовлю чего-нибудь повкуснее и принесу тебе, сюрпризом.

– А ему и горя мало, что сюрприз-то остыл! – произнес новый голос.

Чей голос? Да того самого Ричарда: ни отец, ни дочь не заметили, как он подошел, и теперь он стоял перед ними и поглядывал на них, а лицо у него все светилось, как то железо, по которому он каждый день бил своим тяжелым молотом. Красивый он был парень, ладный и крепкий, глаза сверкающие, как докрасна раскаленные брызги, что летят из горна; черные волосы, кольцами выходящие у смуглых висков; а улыбка... увидев эту улыбку, всякий понял бы, почему Мэг так расхваливала его красноречие.

– Ему и горя мало, что сюрприз остыл! – сказал Ричард. – Мэг, видно, не угадала, чем его порадовать. Где уж ей!

Трухти немедленно протянул Ричарду руку и только хотел обратиться к нему с самым горячим выражением радости, как вдруг дверь у него за спиной распахнулась и высоченный лакей чуть не наступил на рубцы.

– А ну, дайте дорогу! Непременно вам нужно рассесться на нашем крыльце! Хоть бы разок для смеху пошли к соседям! Уберетесь вы с дороги или нет?

Последнего вопроса он, в сущности, мог бы и не задавать, – они уже убрались с дороги.

– Что такое? Что такое? – И джентльмен, ради которого старался лакей, вышел из дому той легко-тяжелой поступью, являющейся как бы компромисс между иноходью и шагом, какой и

подобает выходить из собственного дома почтенному джентльмену в летах, носящему сапоги со скрипом, часы на цепочке и чистое белье: нисколько не роняя своего достоинства и всем своим видом показывая, что его ждут важные денежные дела. – Что такое? Что такое?

– Ведь просишь вас по-хорошему, на коленях умоляешь, не суйтесь вы на наше крыльцо, – выговаривал лакей Тоби Вэку. – Так чего же вы сюда суетесь? Неужели нельзя не соваться?

– Ну, довольно, – сказал джентльмен. – Эй, рассыльный! – И он поманил к себе Тоби Вэка. – Подойдите сюда. Это что? Ваш обед?

– Да, сэр, – сказал Тоби, успевший между тем поставить миску в уголок у стены.

– Не прячьте его! – воскликнул джентльмен. – Сюда несите, сюда. Так. Значит, это ваш обед?

– Да, сэр, – повторил Тоби, облизываясь и сверля глазами кусок рубца, который он оставил себе на закуску как самый аппетитный: джентльмен подцепил его на вилку и поворачивал теперь из стороны в сторону.

Следом за ним из дому вышли еще два джентльмена. Один был средних лет и хлипкого сложения, с безутешно-унылым лицом, весь какой-то нечищенный и немытый; он все время держал руки в карманах своих кургузых, серых в белую крапинку панталон, – очень больших карманах и порядком обтрепавшихся от этой его привычки. Второй джентльмен был крупный, гладкий, цветущий, в синем сюртуке со светлыми пуговицами и белом галстуке. У этого джентльмена лицо было очень красное, как будто чрезмерная доля крови сосредоточилась у него в голове; и, возможно, по этой же причине, от того места, где у него находилось сердце, веяло холодом.

Тот, что держал на вилке кусок рубца, окликнул первого джентльмена по фамилии – Файлер, – и оба подошли поближе. Мистер Файлер, будучи подслеповат, так близко пригнулся к остаткам обеда Тоби, чтобы разглядеть их, что Тоби порядком струхнул. Однако мистер Файлер не съел их.

– Этот вид животной пищи, олдермен, – сказал Файлер, тыкая в мясо карандашом, – известен среди рабочего населения нашей страны под названием рубцов.

Олдермен рассмеялся и подмигнул: он был весельчак, этот олдермен Кьют. И к тому же хитрец! Тонкая штучка! Себе на уме. Такого не проведешь. Видел людей насквозь. Знал их как свои пять пальцев. Уж вы мне поверьте!

– Но кто ест рубцы? – спросил Файлер, оглядываясь по сторонам. – Рубцы – это условно наименее экономичный и наиболее разорительный предмет потребления из всех, какие можно встретить на рынках нашей страны. Установлено, что при варке потеря с одного фунта рубцов на семь восьмых одной пятой больше, чем с фунта любого иного животного продукта. Так что, собственно говоря, рубцы стоят дороже, нежели тепличные ананасы. Если взять число домашних животных, которых ежегодно забивают на мясо только в Лондоне и его окрестностях, и очень скромную цифру количества рубцов, какое дают туши этих животных, должным образом разделанные, находим, что той частью этих рубцов, которая непроизводительно расходуется при варке, можно было бы прокормить гарнизон из пятисот солдат в течение пяти месяцев по тридцати одному дню в каждом, да еще один февраль. Какой непроизводительный расход!

У Трухти от ужаса даже поджилки задрожали. Выходит, что он собственноручно уморил с голоду гарнизон из пятисот солдат!

– Кто ест рубцы? – повторил мистер Файлер, повышая голос. – Кто ест рубцы? Трухти конфузливо поклонился.

– Это вы едите рубцы? – спросил мистер Файлер. – Ну, так слушайте, что я вам скажу. Вы, мой друг, отнимаете эти рубцы у вдов и сирот.

– Боже упаси, сэр, – робко возразил Трухти. – Я бы лучше сам с голоду умер.

– Если разделить вышеупомянутое количество рубцов на точно подсчитанное число вдов и сирот, – сказал мистер Файлер, повернувшись к олдермену, – то на каждого придется ровно столько рубцов, сколько можно купить за пенни. Для этого человека не останется ни одного грана. Следовательно, он – грабитель.

Трухти был так ошеломлен, что даже не огорчился, увидев, что олдермен сам доел его рубцы. Теперь ему и смотреть на них было тошно.

– А вы что скажете? – ухмыляясь, обратился олдермен Кьют к краснолицему джентльмену в синем сюртуке. – Вы слышали мнение нашего друга Файлера. Ну, а вы что скажете?

– Что мне сказать? – отвечал джентльмен. – Что тут можно сказать? Кому в наше развращенное время вообще интересны такие субъекты, – он говорил о Тоби. – Вы только посмотрите на него! Что за чучело! Эх, старое время, доброе старое время, славное старое время! То было время крепкого крестьянства и прочего в этом роде. Да что там, то было время чего угодно в любом роде. Теперь ничего не осталось. Э-эх! – вздохнул краснолицый джентльмен. – Доброе старое время!

Он не уточнил, какое именно время имел в виду; осталось также неясным, не был ли его приговор нашему времени подсказан нелицеприятным сознанием, что оно отнюдь не совершило подвига, произведя на свет его самого.

– Доброе старое время, доброе старое время, – твердил джентльмен. – Ах, что это было за время! Единственное время, когда стоило жить. Что уж толковать о других временах или о том, каковы стали люди в наше время. Да можно ли вообще назвать его временем? По-моему – нет. Загляните в «Костюмы» Стратта<sup>3</sup>, и вы увидите, как выглядел рассыльный при любом из добрых старых английских королей.

– Даже в самые счастливые дни у него не бывало ни рубахи, ни чулок, – сказал мистер Файлер, – а так как в Англии даже овощей почти не было, то и питаться ему было нечем. Я могу это доказать, с цифрами в руках.

Но краснолицый джентльмен продолжал восхвалять старое время, доброе старое время, славное старое время. Что бы ни говорили другие, он все кружился на месте, снова и снова повторяя все те же слова; так несчастная белка кружится в колесе, устройство которого она, вероятно, представляет себе не более отчетливо, чем сей краснолицый джентльмен – свой канувший в прошлое золотой век.

Возможно, что вера бедного Тоби в это туманное старое время не окончательно рухнула, так как в голове у него вообще стоял туман. Одно, впрочем, было ему ясно, несмотря на его смятение; а именно, что как бы ни расходились взгляды этих джентльменов в мелочах, все же для тревоги, терзавшей его в то утро, да и не только в то утро, имелись веские основания. «Да, да. Мы всегда не правы, и оправдать нас нечем, – в отчаянии думал Трухти. – Ничего хорошего в нас нет. Мы так и родимся дурными!»

Но в груди у Трухти билось отцовское сердце, неведомо как попавшее туда вопреки высказанному им выше убеждению; и он очень боялся, как бы эти умные джентльмены не вздумали предсказывать будущее Мэг сейчас, в короткую пору ее девичьего счастья. «Храни ее бог, – думал бедный Трухти, – она и так узнает все скорее, чем нужно».

Поэтому он стал знаками показывать молодому кузнецу, что ее нужно поскорее увести. Но тот беседовал с нею вполголоса, стоя поодаль, и так увлекся, что заметил эти знаки лишь одновременно с олдерменом Кьютом. А ведь олдермен еще не сказал своего слова, и так как он тоже был философ – только практический, о, весьма практический! – то, не желая лишиться слушателей, он крикнул: «Погодите!»

– Вам, разумеется, известно, – начал олдермен, обращаясь к обоим своим приятелям со свойственной ему самодовольной усмешкой, – что я человек прямой, человек практический;

---

<sup>3</sup> *Стратт Джозеф* – художник-график и историк английского быта (1749—1802).

и ко всякому делу я подхожу прямо и практически. Так уж у меня заведено. В обхождении с этими людьми нет никакой трудности, и никакого секрета, если только понимаешь их и умеешь говорить с ними на их языке. Эй, вы, рассыльный! Не пробуйте, мой друг, уверять меня, или еще кого-нибудь, что вы не всегда едите досыта, и притом отменно вкусно; я-то лучше знаю. Я отведал ваших рубцов, и меня вам не «околпачить». Вы понимаете, что значит «околпачить», а? Правильное я употребил слово? Ха-ха-ха!

– Ей-же-ей, – добавил джентльмен, снова обращаясь к своим приятелям, – надлежащее обхождение с этими людьми – самое легкое дело, если только их понимаешь.

Здорово он наловчился говорить с простолюдинами, Этот олдермен Кьют! И никогда-то он не терял терпения! Не гордый, веселый, обходительный джентльмен, и очень себе на уме!

– Видите ли, мой друг, – продолжал олдермен, – сейчас болтают много вздора о бедности – «нужда заела», так ведь говорится? Ха-ха-ха! – и я намерен все это упразднить. Сейчас в моде всякие жалкие слова насчет недоедания, и я твердо решил это упразднить. Вот и все. Ей-же-ей, – добавил джентльмен, снова обращаясь к своим приятелям, – можно упразднить что угодно среди этих людей, нужно только взяться умеючи.

Тоби, действуя как бы бессознательно, взял руку Мэг и продел ее себе под локоть.

– Дочка ваша, а? – спросил олдермен и фамильярно потрепал ее по щеке.

Уж он-то всегда был обходителен с рабочими людьми, Этот олдермен Кьют! Он знал, чем им угодить. И высокомерия – ни капли!

– Где ее мать? – спросил сей достойный муж.

– Умерла, – сказал Тоби. – Ее мать брала белье в стирку, а как дочка родилась, господь призвал ее к себе в рай.

– Но не для того, чтобы брать там белье в стирку? – заметил олдермен с приятной улыбкой.

Трудно сказать, мог ли Тоби представить себе свою жену в раю без ее привычных занятий. Но вот что интересно: если бы в рай отправилась супруга олдермена Кьюта, стал бы он отпускать шутки насчет того, какое положение она там занимает?

– А вы за ней ухаживаете, так? – повернулся Кьют к молодому кузнецу.

– Да, – быстро ответил Ричард, задетый за живое этим вопросом. – И на Новый год мы поженимся.

– Что? – вскричал Файлер. – Вы хотите пожениться?

– Да, уважаемый, есть у нас такое намерение, – сказал Ричард. – Мы даже, понимаете ли, спешим, а то боимся, как бы и это не упразднили.

– О! – простонал Файлер. – Если вы это упраздните, олдермен, вы поистине сделаете доброе дело. Жениться! Жениться!! Боже мой, эти люди проявляют такое незнание первооснов политической экономии, такое легкомыслие, такую испорченность, что, честное слово... Нет, вы только посмотрите на эту пару!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.